

В 1993 году в статье «Какое оно, счастье на Руси?» Борис Можаяев писал: «Более всего железная пята бюрократии давила как раз их, людей, отмеченных трудолюбием и наделенных волей к независимости. Независимость хоть слово-то и неважное, да вещь больно хороша, как любил говаривать Пушкин. Именно от того, как будет складываться судьба нашего земледельца, всё и зависит: либо мы обречем в полной мере равноправие в этом мире подлунном и с высоко поднятой головой пойдем по пути, начертанному нам свыше, либо так и останемся посреди дороги с согбенной спиной да с протянутой рукой, в жалкой позе вечного просителя».

Через три года, в марте 96-го, Можаяева не стало. Говорили, что ушел он так же стремительно, как и жил. В последний год жизни он был главным редактором нового журнала «Россия», но успел подписать лишь первый номер. В номере — его нижегородские заметки «Земля и воля», последние свежие впечатления об аграрной реформе в Нижегородской области. Он готовил второй номер, только что вернувшись из Севастополя, и собирался на Дальний Восток, где начинал службу как морской офицер и военный инженер, затем — как газетчик и как писатель. На страницах своего журнала он хотел рассказать о Дальнем Востоке голосами тех народов, которые искони населяли северные и восточные земли России. Он знал их поэзию и ценил ее — еще со времен флотской и корреспондентской молодости. Он всегда предпочитал первоисточники, с ходу угадывая, насколько они первоначальны и чисты. Внезапно развившаяся болезнь сорвала эту поездку. Следующий маршрут предполагался на Алтай. Родная Рязанщина — его повседневность, в календарь не входившая. Сам исколесивший Россию, он собирался из номера в номер, сплошняком печатать Записные книжки Андрея Платонова о поездках по стране — до сих пор они опубликованы лишь отчасти. По свидетельству жены, за пять минут до конца он говорил о том, куда уйдут опущенные стране кредиты.

ПЕРЕКРЕСТОК

«Есть такой закон, психологический или физиологический: у людей с чистой совестью и чистой жизнью эта духовная чистота к старости пропадает и внешне на лицо, — спустя год писал Солженицын, вспоминая приезд Можаяева в Вермонт. И уже о последнем, прощальном их свидании в больнице 24 февраля 96-го: «Вид его поразил. За эти недели болезни руки его исхудали до одних костей, едва

Фрагмент статьи, которая публикуется в журнале «Дружба народов» в 1999 г.

Независимая
20-1999

12 марта — с. 9, 12

ВОЛЯ К НЕЗАВИСИМОСТИ

Борис Можаяев жил на сквозном ветру истории

не палочки, и мяса телесного не осталось, одна кожа. <...>

Но вот что дивно: он стал еще красивее, чем раньше! — так властно прорвалась на лицо духовная красота. Густые, несколько не прореженные, седые кольца-пряди волос на голове увенчивали эту красоту. Выражение лица его поражаало тем, что он уже несомненно не в этом мире, — тем более удивительно, что ведь Борис не знал правду своего состояния, не хотел знать, отгоняя!».

Был в жизни Можаяева и Солженицына перекресток, необычайно важный для них обоих и, может быть, еще больше для всей нашей литературы, для ее истории, уже известной и той, что напрягается в ее глубине, как бы готовясь к осуществлению. Дважды возил Можаяев Солженицына по тамбовской земле. В первый раз это было в июне 1965 года. Собирая материалы к «Красному Колесу», Солженицын мечтал узнать все, что сохранилось «о томившем меня тамбовском крестьянском восстании 1920—21 года». Замысел этот остался неосуществленным, хотя в Узле 11 «Октябрь Шестнадцатого» уже есть главы Плужникова, будущего вождя тамбовского крестьянства. Летом 69-го с той же целью они отправились в новую поездку. В «Телёнке» Солженицын сказал о Можаяеве: «Он выражал собой вечное ровное струение (или зеленый рост) народной жизни». В посмертных записках о друге, вспоминая поездку в сенокосную пору 69-го года, Солженицын пишет: «И всегда-то взлётчиво-подвижный Боря в родных лугах еще убыстрился, еще оживился, вот тут он был на месте, как еще нигде я его не видел, от радости он надышаться не мог, широкая улыбка его не закрывалась, — он сам как рос тут со всем растущим, перелегал и перелетал со всем одушевленным путем».

В эту поездку Можаяев рассказывает Солженицыну о замысле романа «Мужики и бабы»: «Сперва цветущая деревня Двадцатых годов, потом коллективизация и — отменный крестьянский мятеж, который в Пителинском округе произошел в Девятьсот тридцатом». Пителино Сасовского уезда, в разное время относящегося то к Тамбовской, то к Рязанской области, — родная деревня Можаяева.

«И слушая я во все уши, — продолжает Солженицын, — и записывал, и глазами Боря по-едал, как живое воплощение среднерусского мужицества, вот и повстанчества, — а до самой главной догадки не добрался, да это и такой писательский закон: догадка образа приходит чаще всего с опозданием, даже и много позже. Лишь через месяцы я догадался: да Боря-то я

описать главным крестьянским героем «Красного Колеса»! <...> Так и родился и написан был (и не дописан был, как всё «Колесо», до командира партизанского полка) — Арсений Благодарёв».

Чтобы представить себе, какая историческая действительность стояла за художественным планом Солженицына и романом Можаяева, лучше всего привести строки из документов, относящихся к 1921 году, когда советской власти было всего три с половиной года.

Из «Директивы командования войск Тамбовской губернии...» № 0050/опс 30 мая 1921 г. «С рассветом 1 сего июня призываю приступить во всех участках к массовому изъятию из сел бандитов, а где таковых не окажется, их семей. Эта операция должна проводиться настойчиво и методически, но вместе с тем быстро и решительно. Изъятие бандитского элемента <...> должно определенно показать крестьянству, что бандитское племя и семья неукоснительно удаляются из губернии и что борьба с Советской властью безнадежна. <...> В очищенных местах вместе с ревкомками немедленно насаждать милицию. <...>

Командующий войсками Тухачевский
Начитавойск Кокурин».

Из «Приказа Полномочной комиссии ВЦИК...» № 171, г. Тамбов 11 июня 1921 г. «Давы окончательно искоренить эсэро-бандитские корни и в дополнение к ранее отданным распоряжениям Полномочная комиссия ВЦИК приказывает: 1. Граждан, отказывающихся называть свое имя, расстреливать на месте без суда. 2. Селениям, в которых скрывается оружие, властью уполиткомиссии или райполиткомиссии объявлять приговор об изъятии заложников и расстреливать таковых в случае неспдачи оружия. 3. В случае нахождения спрятанного орудия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье. 4. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается без суда. 5. Семьи, укры-



Борис Можаяев и Александр Солженицын.

вающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитов, и старшего работника этой семьи расстреливать на месте без суда. 6. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределять между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать. 7. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно.

Председатель Полномочной комиссии ВЦИК
Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский».

Приказ был отпечатан тиражом 30 тыс. экземпляров и заканчивался припиской: «Прочность на сельских сходах».

Еще через день. Из «Приказа Командования войсками Тамбовской губернии...» № 0116 12 июня 1921 г. «1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако

удушливых газов, распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нем пряталось. 2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов. 3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ. <...>

Командующий войсками Тухачевский
Начитавойск Кокурин».

Когда Можаяев спустя семьдесят лет писал, что «более всего железная пята бюрократии давила как раз их, людей, отмеченных трудолюбием и наделенных волей к независимости», то, говоря фигурально, он фиксировал эти развернутые во времени приказы 1921 года. Чиновничье насилие было лишь формой армейского и имело в своей основе военный характер.

(Окончание на стр. 12)

(Окончание. Начало на стр. 9)

Он жил постоянно на сквозном ветру истории. Собственно, деления времени на прошлое, настоящее и будущее для него не существовало. Текущий день нес в себе всю хронологию. Он мог сказать: «В наших местих остановили татарское нашествие, колоды приняли только в 35-м и здесь ходил Стенька Разин». Для него это был один эон и одна повседневность. В роман, как в чашу, опрокинут весь опыт его собственной жизни, опыт его земляков на протяжении полувека, пережитый, как собственный, включая то, что несла народная память, бесценное устное предание, вытянутое из-под катков насильственного забвения и лжи.

То, что Твардовский, создатель «Василия Тёркина», захотел напечатать «Один день Ивана Денисовича», едва рукопись попала ему в руки, тоже знаменательный сюжет истории нашей литературы. Через три года он напечатал «Из жизни Федора Кузькина» («Живой» в последующих изданиях). Он хотел перепечатать «Привычное дело» Василия Белова, в том же 1966 году опубликованное в журнале «Север» № 1 (Петрозаводск), но при нелюбви к перепечаткам себе это не позволил. В 1963 году он напечатал «Матрёнин двор» («Не стоит село без праведника») Солженицына. В 1969-м — «Пелагею» Федора Абрамова. В «энциклопедию мук российской деревни» (Можавев) со страниц «Нового мира» сошла в шестидесятые годы вереница крестьянских характеров. Тот «рывок его мужского и поэтического чувства», которое, по словам Солженицына, испытал Твардовский, впервые читая «Ивана Денисовича» и решая его судьбу, был для Твардовского не разовым и не однажды случался с ним. Там была лава горя и ответственности.

Можавеву выпало сказать о воле к независимости. «Живой» создавался на подступах к роману, и зарево замысла о подавленном восстании 30-го года над этой повестью нависает. В истории Кузькина закодирован простой крепостной сюжет. Балаган тут несет в себе историческую драму, и Театр на Таганке, перенес повесть на сцену, эту чисто можавевскую оптику сделал внятной всем. Спектакль был запрещен, и к широкому зрителю вышел лишь 21 год спустя.

В год, когда был опубликован «Живой» (1966), написана «Старица Прошкина». Не историю разорения прочитывает повествователь, а тщетные попытки одинокого созидания. «Осматривал я... и дивился той безразличности человеческого упорства, порожденного волей к независимости». История жизни Анны Ивановны Прошкиной, которая была и председателем колхоза, и парторгом (образ ее, комсомольской активистки, язвительным эскизом мелькает в романе), — это история того, как власть и отрицание власти способны сойтись в одной душе, образуя опасный и саморазрушительный сплав. Волница искренений кулаков, вредителей, воров, которая крутит Анной Ивановной; не истребленная ни тюрьмой, ни разором жажда справедливости, жажда живого зеленого роста и талант к нему — написаны Можавевым так естественно, так из одного корня и в пределах одной души, что мысль о противоречиях кажется тут надуманной и праздною.

Кажется, что он стянул с себя все пошлое и загадочное этой души и пишет, как есть, как знает, как случилось у подруги его родной тетки. Зыбкость ипостасей написана Можавевым покойно и просто, с ненавязчивым и нестилизированным историзмом. Оттого времена Алены, атаманши и старицы, и времена советские, теряя различия и дистанцию между собой, образуют новое — чисто поэтическое — измерение. Читая «Старицу Прошкину», рассказ небольшой, и словно погружаешься в долгое, протяженное повествование, а рассказ лишь глава его. То ли это давно начатая летопись, то ли воскресающий жанр жизнеописаний, даже житие. Опыт повествователя велик, не вычитан, независим и ждет не столько концепции, сколько этой возможно широкой и возможно непредвзятой, вольной повествовательности.

Заметим, что вторая книга «Мужиков и баб» была отклонена всеми московскими журналами, по всему спектру позиций. Напечатал вторую книгу, где развернута панорама уже созревшего крестьянского сопротивления и сам мятеж и расправа над ним, журнал «Дон» (1987, № 1-3). Вешенское восстание, антоновщина, мятеж в Пители-

но и еще в трехстах, по статистике Рютина, местах — подземный гул этих событий еще долго будет отзываться в нас и нашей литературе, тем более, что жизнь способствует этой акустике. Споры вокруг авторства заслонили от нас «Тихий Дон», ни одной серьезной работы о сути книги в наши дни не появилось, хотя в последние пятнадцать лет ничто этому не мешало. Но появились том документов и материалов «Антоновщина» и том документов «Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917—1921 гг.)».

Читаешь эти книги и кажется, что реальность сама взялась рассказать о себе, минуя посредничество литературы и самовольно переплываясь в искусство. Проявлять силы рока — прерогатива великих книг. Здесь перелом коллектив ученых и два ответственных редактора — В.Данилов и Т.Шанин. Научная работа и никаких претензий на беллетристику, тем более на поэзию. А жанр — эпос. Не как программа, а как результат. Свиток событий, которые как бы и не нужны в авторе. Это развилка жанров, межотраслевые перепутья.

МОЖАЕВ СХВАЧЕН ЖИВЬЕМ...

В 1969 году Солженицын увидел в Можавеве главного крестьянского героя «Красного Колеса», которому в антоновщине предстояло стать — по роману — командиром повстанческого партизанского полка, а если по реальной истории, — тем именно, в кого были нацелены приказы о «массовом изъятии из сел бандитов, а где таковых не окажется, их семей», о расстрелах «на месте без суда старшего работника», об очистке лесов, «где прячутся бандиты... ядовитыми газами». В тихую сенокосную пору того года, слушая Можавева, предполагал ли Солженицын, что сам этот миг внезапного узынавания и постепенного проявления догадки возникнет в его романе? Перед полковником Воротынцевым этот образ предстанет, и он двинется навстречу ему 14 августа 1914 года в бою под прусским селом Уздау, когда «вся полосу окопов Выборгского полка накрыло толчеей немецких фугасов». «Второй раз перемалывали выборжцев», — пишет Солженицын, — но не было в них порыва бежать и вряд ли вступало им в голову, что могли бы они тут, под снарядами и не кривиться. Нет, как камни, натащенные ледником, переживающим потом его таяние, переживают века и цивилизации, грозы и знои, лежат и лежат, — вот так тут солдаты сидели и сидели, не вышибаясь. От дедов привычное, долгое, неотклонимое: надо терпеть, никуда не денешься».

О Благодарёве, одном из этих нанесенных ледником камней, он скажет: «Благодарёв сидел в окопе, как пережидают ливень под худой крышей». И дальше: «Простота держалась была у этого солдата дослужебная, дочиновная, дословная, догосударственная, невежественно-природная простота». Но — «труден, труден возврат от камня к жизни». Тем не менее он совершается в том же Узле 1, в «Августе Четырнадцатого», в минуту (уже осенью) тяжелейшего разговора Воротынцева со Свечным о тушке войны, о безысходной участи русской армии, о том, что «выгода России может не совпадать с честью нашего мундира» (Воротынцев) и — Свечин: «Вообще, мятеж, погорячу, часто кажется самым прямым и правдивым выходом. А проходит время — и оказывается, что терпящая линия была верней. Я тебе дело говорю. Сиди не лихо, работай тихо».

Посреди этого разговора и появляется в романе Благодарёв, уже несая в своей повелке дыхание будущего мятежа. Еще прежде, чем сложатся обстоятельства, возникнет поступ и пластика, и здесь, как нигде, Можавев схвачен живьем.

«Они уже возвращались, выходили на край леса, к посёлку и поездам <...> А тут, по крайней тропке, обходя места высокого начальства, спешил писарь, хлопотливый селезень, а за ним, с прямым не военной, не воспитанной, прирожденной, на два шага писаря делая свой один, шагал Арсений Благодарёв. Как все ноши с плеч покидая, с грубостью опять выставленной, свободно он на ходу помахивал руками, свободно оборачивался направо и налево, сколько ему

нужно, не стеснёв высокою Ставкой, ни близостью великих князей. <...> Таким не окружение его сделало, таким застал его Воротынцев под Уздау, он тогда не к своему полковнику, но и ко всякому офицеру так умел: безошибочно употребляя все военные выражения, уверенно чувствовалось, что за их черту не перейдет, а тон — переходил, из службы отчасти в игру».

Крестьянская война начинается разветвляться в романе через характер. Раньше всего писателю представился тип повстанца. «Мой близкий, тесный друг», — напишет Солженицын о Можавеве в «Телёнке». Он «открыл путь в роман», — скажет он в 1997-м.

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ ОПЫТА

У Можавева в романе нет главного героя. Повествование многогрестно, многоволново. Толстовские слова — «море народной



Борис Можавев с земляком, прототипом Федора Кузькина. 60-е годы.

жизни» — не являются здесь метафорой. Образу безбрежья входит в роман сразу, и сразу мы попадаем в край изменчивых далей и превращений. Даже если они и вымыслены, то не вымыслена фантазия, их породившая. В романе — как и в личности его автора — все не окончательно, все импульсивно, мотивы и цели, при всей видимой простоте, то и дело распускаются в спектр и когда снова сбегаются в один луч — не уловишь.

С чего начинает Можавев главу о Прокопе Алдонине? «Прокоп Алдонин был скучным мужиком». Дальше сказано, что отец Прокопа работал механиком в Баку, «и Прокоп там же при отце». Оленте в деревне говорили: «Его Баку — спячка на боку». Все помыслы Прокопа связаны с машиной, все инициативы — с техникой. И все реакции — это реакции человека дела. Молотобоец Серган, желая покрасоваться перед Прокопом, сплюснул в кулаке шестилитровый гвоздь в розочку. «Что ж ты добро портишь? — сказал Прокоп, кидая это Серганово изделие. — Был гвоздь, а теперь финтифлюшка». <...> Серган поднял розочку, стиснул опять звездную шляпку в своей каленой ладони и, ухватив за конец, пытая и синея от натуги, вытянул гвоздь на всю длину. Такой праздности, пустяковости Прокоп не терпел. Можавев пишет натуру глубоко конструктивную. Прокоп во всем отыскивает максимальный КПД.

Прежде чем вспыхнуть бунту, Можавев развернул фронт мастеров: как ходить за конями и искать конокралов, как стеречь сад, как, пробуя сапог на прочность, попытаться зубами оторвать подошву, как «азартный до выгоды» Ключев и его брат сколачивали копейку и копили ее, как уговорить запрягившуюся корову встать и опять давать молоко...

В романе свободно дышит опыт крестья-

нского бытия в той степени зрелости и даже накала, когда существование несамостоятельное дальше уже невозможно. Все обилие стычек, споров, дискуссий, все разноречие догадок, пророчеств, реакций, мнений, выстраданных и скатившихся с языка ради красного словца, скоморошных и патетичных, сливается у Можавева в бурлящее народное сознание перед тем, как ему предстоит смолкнуть на долгие десятилетия. Это художественное свидетельство, универсальное по масштабу. Это объективное и дерзкое повествование о резервах независимости и о невероятности ее потаенных форм и превращений. В этом смысле роман энциклопедичен и пока не узнан.

Не лихостью играет у Можавева народная воля к независимости — это лишь вензеля, и у Можавева был вкус и мера в написании их.

мандри и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительств. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (NB Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванич один был из хороших дворян).

Эти слова — план будущих романов о будущих бунтах. XX век заставит видеть дворы, каждый в отдельности. «Мелеховский двор — на самом краю хутора» — первая фраза «Тихого Дона». Потом потянутся другие дворы Татарского. Завершится «Тихий Дон» на пепелище мелеховского дома. И Мелехов, и Благодарёв, и Плужников — люди войны. Участники Первой мировой, они становятся героями войны казачьей и крестьянской. Возвращаясь к Пушкину, вспомним, что и он в «Истории Пугачева» писал бунт как крестьянскую войну, настолько мощную, что на ее ликвидацию был послан Суворов. Суворову не суждено было ни победить, ни догнать, ни взять Пугачева. Пугачев сам сдался своим: «...подозвав своего любимца, шлепкого казака Творогова, протянул ему свои руки и сказал: «Важки!» Но первое, что говорит Пушкин, описывая встречу Суворова и Пугачева: «Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях». Военное искусство Пугачева было Суворову любопытно. Но досталась ему роль конвоира. Как Тухачевскому его роль.

Первые слова, которые у Пушкина произносит Пугачев на первом допросе: «Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство». В ходе романа «Мужики и бабы» окаянство и вовсе освобождается от поэзии. Две войны. Первая мировая и Гражданская, пройденные Бородинным, резонируют в нем жесткостью и немелочностью достоинства. Вора Бородин найдет, но не беглому вору Ивану Жалову бунтовать. Иное дело подрядчик Федор Звонцов, в романе главный бунтовщик. «Чернобродный, с открытым и дерзким взглядом смолых цыганских глаз», Звонцов — лицо и рупор бунта, в его классическом, крайнем выражении, с установкой «а нам терять нечего, окромя своих цепей». Но прежде чем это произнесит, Звонцов спалит свой дом, который поставил в 22-м, вернувшись с Гражданской войны, — «пятистенный, двенадцать на десять аршин, на каменном фундаменте, под железной крышей, под зеленой... Наличники во всю стену, как вологодские кружева».

«Были смекалист и мастер на все руки — и плотничал, и штукатурил, и сапоги тачал, и бондарилал. Потом бригаду сколотил, подражал брал... Засидел на широкой ноге». Ему предлагали работать и в сельском Совете, и даже в волости. От всего отказался ради хозяйства и самостоятельности. Поэтому, когда хозяев стали грабить и выселять, он отправил жену к сыну в Нижний и приехал ночью на хутор к Черному Барину, Мокею Ивановичу — сговаривать на мятеж, замахнуться «на всю эту сволочь... Башки им сворачивать и отбрасывать прочь... Весь народ колоробит, как брага в кувшине. Того и гляди стенки разорвет. <...> Мы им всем покажем кузькину мать. Дворы наши пожжем, чтоб ни нам, ни им. А сами уйдём в лес».

И тут границы между дворами, между хозяевами вибрируют и сменяются. Для повествователя это самые напряженные минуты, хотя, казалось бы, фронт противостояния прорублен напрямую и без тумана — между властью и народом.

«Глядя на свои руки, сложенные крестом на столе», Черный Барин говорит: «Сжечь всё, что сам обтёсывал, выкладывал по брёвнышкам... А сад, питомник? <...> Я не бессмертный. Рано или поздно — всё равно померу. А сад пуцать стоит. Это живое дело. Дерево, оно от Бога. <...> Нет, Федор, подымать руку на людское добро — значит самому бесом становиться...»

На что Звонцов отвечает вполне основательно: «Ну, ну... Давайте, пойте в рай в сопровождении милиционера».

Вспомним, как бился в припадке Григорий Мелехов, когда порубил шашкой матросов. Федор Звонцов, красноармейцем гонимый за казачьими шайками и громивший мятежные станицы, попав к белым в плен, видел, как расстреливали матросов на окраине Новороссийска. А потом, их, пленных, заставляли откапывать начавшие разлагаться плохо зарытые трупы убитых и хоронить где подальше. «На этой работёнке и осатанел Звонцов. Потом, когда отбили у белых Новороссийск, на вопрос: «Кто добровольно желает расстреливать офицеров?» — Звонцов вышел первым». Звонцов в припадке не бился. Но расстреливать белых офицеров в 18-м, а в 30-м башки сворачивать коммунистам и отбрасывать прочь — он готов.

Для Андрея Ивановича Бородина Черный Барин — греза. Нет, жить на отшибе бюроком он не хотел. Но чтобы самому вести хозяйство, «чтобы не зависеть от мирского гуся до трёхпалки — это другой оборот». Черный Барин — невидимый центр притяжения, зыбкая перспектива повествования, которую и не разглядеть сразу в этом многоголосье и многоликости. Но в его сторону глядят и Звонцов, и Бородин. Головы их развернуты резко. И тому, и другому — он по плечу. Оба как хозяева чувствуют свою равенность к нему, по крайней мере — в замесе. Но у каждого — и своя дистанция до него.

Звонцов с его окаянством уходит от Черного Барина ни с чем, напутствуемый двоеперстием младшего брата Мокея Ивановича. «Но Звонцов отстранил его кнутовищем». Как всегда у Можавева, ни одна ипостась Черного Барина не окончательна и не абсолютна — ни скит, ни быт, ни хозяйство. В одном он твёрд — «...руки подымать на свое добро не стану. Грех».

Так же и Андрей Иванович Бородин на даст втянуть себя в лавину расправ. Он человек по натуре артельский. Эта неспособность «жить бирюком», за которую он себя как бы и укоряет, выдвигает Бородина в центр романа, но не в центр событий. Однако ему чаще всего отдаются крупные планы — ему же отдано имя отца Бориса Андреевича. «Памяти родителей моих Марии Васильевны и Андрея Ивановича посвящаю. Автор».

Нужен был Звонцов с его трезвостью и «пропади всё пропадом», чтобы действия власти, силой и обманом загоняющей в колоды, бесстрашно вывернуть наизнанку. Баланс сил провокативно утончен, и на лезвии баланса, легко словом это лезвие, стихия мятежа смыкает Звонцова с его интуитивным демократизмом и окаянством.

Крестьянский мятеж в романе Можавева — это история сорванного созидания, парализованных сил, извращенных энергий. Роман движется знанием, тоской и верой, что сил много, а ходу им нет. Можавев пишет свободу как возможность открытого созидания, как труд и деятельность, которые сами ищут свой путь и определяют плечо рычага. Трагедия мятежа — это трагедия деятельных сил, вынужденных истреблять себя в мятеже. В бунт втягивают, в бунт загоняют, как в западню.

Финал романа не открыт, а распадут. Если не уничтожено, то вытеснено и рассеяно все, что может действовать и плодотворно. Куда вытеснено? Где рассеяно? «Поднялось в суматошной толчее черным облаком и крестьянство, и разнесло его продувным ветром истории во все пределы человеческой деятельности. А земля с той поры осиротела и стала беспризорной» («Мужик», очерк 90-го года).

Спустя три года после окончания романа, записывая в Главном управлении культуры Мосгорисполкома «Бориса Годунова», спектакль Театра на Таганке, Можавев скажет: «Мне кажется, у Пушкина народ представлен и поступает, может быть, и не так, как следовало бы, но в силу обстоятельств он не мог поступить иначе. Это есть внутреннее выражение протеста и понимания того, что происходит. А безмолвие народа говорит о том, что народ достаточно хорошо понимает ситуацию. Сейчас он не мог не безмолвствовать, а через полгода мог... Народ — море, народ — океан. В нем всплески. Ваши нападки, связанные с осуждением, — неуместны».

